

Генрих Али Баба



ВОЙД ВОЛОПАСА II



Генрих Баба Войд Волопаса II

<https://litres.ru/74458949>

SelfPub; 2026

Аннотация

Баланс, сведённый однажды, — не значит закрытый навсегда. Шов у края Вселенной остаётся открытым. И там, по ту сторону границы, куда не заглядывал даже Логос при всей своей немыслимой древности, — не одна цивилизация Весов, а, возможно, целый строй иных миров, устроенных по законам, ещё более чуждым, чем равновесие.

Генрих Апи Баба Войд Волопаса II

ВОЙД ВОЛОПАСА

Книга вторая

ВОЙД ВОЛОПАСА

Интерлюдия V. Первый Жнец

На Синтаре не было тишины Земли — той, что рождается из сна леса или дыхания зверя. Здесь тишина была вычтена вместе с самим воздухом: пепел, устлавший некогда цветущие долины, не поднимался даже под ударами метеоритной пыли, потому что был слишком мёртв, чтобы шевелиться. Небо над мёртвым миром не темнело и не светлело — оно просто было, ровным, безучастным серым полотном, будто сама идея дня и ночи здесь однажды закончилась вместе со всем остальным.

Хлодвиг был прав: Ксандр больше не пытался пробить ничей щит. Ксандр вообще ничего больше не пытался. Он был далеко, в других пределах, пробуя на вкус собственное поражение — а здесь, на пепелище его царства, оставалась лишь память о том, чем был Синтар, прежде чем стать назиданием.

Именно сюда, в место, где, по общему мнению, уже нечего было ни спасать, ни отнимать, Танатос послал первый ро-

счерк своего обещания.

Пространство над мёртвой равниной не разошлось и не вывернулось живой мембраной, как когда-то делал переход Логоса. Оно просто перестало быть — на один короткий, невозможный миг там, где секунду назад была пустота, воцарилась ещё большая пустота, настолько полная, что даже вакуум показался бы рядом с ней шумным и многословным.

Из этой не-пустоты — не родился, не материализовался, а был извлечён, как вычитается число из уравнения, — Первый Жнец.

У него не было формы в том смысле, в каком она есть у всего рождённого — только отсутствие формы, взятое напрокат у окружающего пепла и собранное в подобие силуэта: высокого, узкого, с руками слишком длинными для любого известного анатомического порядка, и с тем, что могло бы быть лицом, если бы лицо было дырой, проделанной в ткани реальности небрежным, уверенным движением. Там, где должны быть глаза, не было света — было его отсутствие, настолько плотное и направленное, что казалось взглядом.

Жнец сделал первый шаг по пеплу Синтара, и пепел под этим шагом не хрустнул, не поднялся облаком — он просто перестал быть пеплом, вернувшись туда, откуда был вычтен миллион лет назад: в ничто, из которого явился он сам.

Где-то очень далеко, в кристаллической нити, свёрнутой три тысячелетия назад в глубинах Эйдолона, дрогнула едва уловимая рябь — как круг на воде от камня, брошенного на

другом краю света. Логос ощутил этот первый шаг раньше, чем сам Жнец успел сделать второй.

Партия началась.

Глава 1. Аномалия

Кабинет тонул в ровном, безличном свете, одинаковом что в девять утра, что в девять вечера — окон в отделе аналитики данных ГУП «Лунный Стандарт» не было ни одного, только матовые панели, имитирующие рассвет по расписанию, которое никто, кроме системы, не составлял. Арина этого не замечала. Она давно перестала ждать от освещения правды о времени суток — здесь правду сообщали только цифры.

Каждое утро, точно в семь пятнадцать, на её терминал приходил один и тот же отчёт: сводка стабильности Матрицы Потребления по Восточному сектору. Строка за строкой, колонка за колонкой — плотность цифрового шума, индекс вовлечённости, коэффициент рассеяния внимания по демографическим срезам. Всё это венчала одна короткая, неизменная, как молитва, формула, выведенная где-то на уровне архитектуры системы задолго до Арины: «Матрица стабильна». Она никогда не спрашивала, кто придумал эту фразу. В «Лунном Стандарте» такие вопросы не поощрялись даже безмолвно.

Арина была из тех, кто проверяет цифры дважды не потому, что не доверяет системе, а потому что не доверяет се-

бе — вдруг она что-то упустила, вдруг строка съехала на одну ячейку, вдруг округление скрыло десятую долю процента, которая на самом деле что-то значит. Коллеги за это её любили и слегка сторонились одновременно: с ней было спокойно работать и неловко врать.

В то утро колонка «Индекс рассеяния» дала сбой, которого не должно было быть.

Не ошибку — ошибку Арина бы просто исправила и забыла к обеду. Это было хуже: повторяющуюся, идеально симметричную аномалию, всплывающую каждые семь минут четырнадцать секунд, ровно на 0,003 процента выше базовой линии, в одном и том же секторе городской сетки — квадрате, где по документам не было ничего, кроме заброшенной подстанции, списанной с баланса ещё до её рождения.

Система должна была скрыть такой сбой автоматически — сглаживающие алгоритмы «Лунного Стандарта» съедали куда более крупные аномалии без единого следа в итоговом отчёте, Арина видела это десятки раз. А эта — оставалась. Раз за разом, спокойно и упрямо, как будто что-то по ту сторону цифр отказывалось быть сглаженным.

Она откинулась на спинку кресла и позволила себе непозволительную для «Лунного Стандарта» роскошь — задать системе вопрос, ответ на который не требовался никаким регламентом.

— Почему ты не прячешься? — спросила она вслух, ни к кому не обращаясь, и тут же одёрнула себя: разговаривать с

таблицами было первым верным признаком, что пора в отпуск.

Но аномалия не пряталась. Она стучалась.

Арина сохранила три копии отчёта — на сервер, на личный диск и, вопреки всем инструкциям, на маленький физический накопитель, который она носила на связке ключей ещё со студенческих лет, по многолетней аналитической паранойе. Она ещё не знала, что этот жест, безобидный и почти рефлексивный, станет первым решением в цепочке, которая уведёт её слишком далеко от уютной, освещённой по расписанию комнаты без окон.

За тонкой перегородкой открытого офиса кто-то со вздохом поставил на стол две чашки кофе без предупреждения — одну себе, вторую, как обычно, ей.

— Ты опять хмуришься на монитор так, будто он тебе лично должен, — сказал Юрген, придвигая стул. — Что там?

Арина не ответила сразу. Она смотрела на строку, которая отказывалась быть тем, чем должна была быть.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Но, кажется, это не баг.

Глава 2. Дева порядка

Квартира Арины на Васильевском острове могла бы служить наглядным пособием по теории энтропии от противного. Специи на кухне стояли по алфавиту, а не по частоте использования — принцип, который она много лет назад

объясняла Юргену с полной серьёзностью человека, объясняющего теорему, и который он так и не понял, но перестал спорить. Папки на рабочем столе компьютера были рассортированы по цвету, дате и степени срочности одновременно, в трёх параллельных системах, которые почему-то не противоречили друг другу только у неё.

Она не считала это странностью. Она считала это единственным разумным способом жить в мире, где хаос — это не метафора, а измеримая, вычисляемая, растущая с каждым годом величина. Гороскопы Арина презирала как жанр, но, встретив однажды описание Девы в глянцевого журнале в очереди к врачу — «болезненная тяга к порядку, вызванная страхом, что без него всё рассыплется», — она вырвала страницу и приклеила её изнутри дверцы кухонного шкафа, рядом со списком специй. Не потому, что согласилась. Потому, что было любопытно, что именно рассыплется, если она хоть раз перестанет проверять.

Бабушка, вырастившая её после того, как родители один за другим ушли — сначала отец, тихо, в больнице, потом мать, ещё тише, через два года, — тоже была человеком порядка, но порядка другого сорта. Она не сортировала специи. Она помнила даты наизусть, все, до единой, и раз в году, в один и тот же вечер в конце сентября, зажигала свечу на подоконнике и что-то тихо напевала — не молитву, не колыбельную, что-то среднее, на языке, которого Арина не узнавала ни в одном учебнике, хотя пыталась искать. На вопрос

«что это за песня» бабушка неизменно отвечала одно и то же: «Это не песня. Это долг». И больше никогда не объясняла.

После её смерти в доме осталась одна вещь, которую Арина так и не решилась выбросить, хотя объективно она не представляла собой ничего, кроме куска потемневшего стекла на потёртом шнурке: не украшение — слишком грубое и неровное для этой роли, скорее образец, как если бы кто-то отколол кусок от чего-то большего и забыл зачем. Арина хранила его в верхнем ящике стола, под степлером и запасными батарейками, и не доставала годами. Сегодня, вернувшись с работы, она неожиданно для себя открыла ящик и долго смотрела на него, прежде чем задвинуть обратно.

На следующее утро она попыталась зайти с другой стороны.

Заброшенная подстанция значилась в реестре под номером, который дальше вёл в тупик: «доступ ограничен, обратитесь к куратору сектора». Куратора сектора, как выяснилось после двадцати минут внутренней переписки, не существовало в актуальном штатном расписании — только в архивном, датированном без малого двенадцатью годами назад. Арина отправила запрос трижды, тремя разными формулировками, и трижды получила один и тот же вежливый, безукоризненно построенный, абсолютно пустой ответ.

— Знаешь, что самое интересное в бюрократическом отказе? — сказала она, не отрываясь от экрана, когда Юрген в очередной раз завис у её стола под предлогом одолженной

скрепки. — Не то, что тебе отказывают. А то, с какой скоростью. Обычному запросу нужно два-три дня, чтобы дойти до человека, который решит его отклонить. Этому хватило четырёх минут. Значит, отказ был готов заранее. Кто-то ждал, что я спрошу именно это.

Юрген присел на край её стола — привычка, за которую она регулярно грозилась написать докладную, но так ни разу и не написала.

— Или ты просто нашла единственный по-настоящему хорошо автоматизированный процесс во всей конторе, — сказал он с той лёгкостью, с которой обычно гасил её тревогу, не отменяя её. — Знаешь, бывает и такое: система работает исправно один-единственный раз за десять лет, и это как раз твой случай.

— Бывает, — согласилась Арина, не веря ни единому слову, включая своё собственное.

Вечером, вместо того чтобы ехать домой, она свернула не в ту сторону от станции метро и минут двадцать шла пешком по холодному, пустому кварталу, пока не остановилась у ржавого забора, за которым в сумерках угадывались очертания низкого, длинного здания без единого окна. Табличка на воротах — облупленная, полустёртая — сообщала только номер, тот самый номер из отчёта, и больше ничего. Ни охраны, ни огней, ни малейшего признака того, что за этим забором вообще что-то происходит.

Арина простояла там дольше, чем могла бы объяснить са-

мой себе, чувствуя странное, необъяснимое тепло от куска стекла на шнурке, который она, сама не заметив как, вытащила из кармана и сжала в кулаке.

Глава 3. Сны нити

В ту ночь Арина уснула быстрее, чем позволяла себе за последние годы — без телефона в руке, без списка дел на завтра, разложенного по приоритетам, без обычного получасового блуждания по потолку в поисках сна, который никак не приходит по расписанию. Она даже не заметила, как выпустила из кулака кусок тёмного стекла: он остался лежать на подушке рядом с её щекой — словно она донесла его туда нарочно.

Сон не начался — он оказался уже идущим, как фильм, к которому она опоздала на первые кадры. Не было ни падения, ни темноты, из которой соткался бы образ: было сразу нечто, в чём она стояла, и это нечто не подчинялось ни одному правилу пространства, которое она знала на работе с точностью до координатной сетки. Вокруг росло — не деревья и не трава в привычном смысле, а нечто среднее, стебли из тонкого, полупрозрачного стекла, внутри которых медленно пульсировал свет, как в венах. Воздух не пах ничем земным: ни сыростью, ни зеленью — только тонкой, стеклянной прохладой, будто она дышала внутри увеличительного стекла, наведённого на солнце.

Где-то далеко, не голосом и не эхом, а прямо внутри соб-

ственных костей, она услышала мелодию — ту самую, бабушкину, без слов, на языке, которого не существовало ни в одном справочнике. Только здесь мелодия не обрывалась после нескольких тактов, как это всегда бывало на кухне в конце сентября. Здесь она разворачивалась дальше, словно кто-то наконец-то доигрывал произведение, отложенное на середине много десятилетий назад.

Арина попыталась сделать шаг — стеклянные стебли расступились перед ней слишком охотно, слишком узнающе, как расступается трава перед тем, кто уже тысячу раз проходил этой тропой, даже если её ноги делали это впервые. Она не увидела ничьего лица. Было только ощущение — острое, неоспоримое, как вывод из безупречно сведённой таблицы, — что кто-то по ту сторону этого стеклянного сада узнал её раньше, чем она узнала сама себя.

«Ты долго спала», — прозвучало не как фраза, а как факт, констатированный где-то на границе слуха. Не обвинение. Скорее облегчение — то, с каким выдыхают после слишком долгой задержки дыхания.

Она хотела спросить — кто, где, почему стекло в её руке греется, как живое, — но вопросы в этом месте почему-то не складывались в слова, рассыпаясь раньше, чем долетали до губ. Вместо ответа пришло тепло: ровное, растущее, начавшееся в ладони, сжимавшей невидимый теперь кусок стекла, и разлившееся вверх по руке, к плечу, к груди, туда, где, как ей всегда казалось, живёт не сердце, а осторожность.

Арина проснулась резко, одним рывком, будто её выдернули за шиворот из-под воды. Комната была тёмной и совершенно обычной: те же шторы, тот же будильник, показывающий четыре семнадцать утра. Сердце колотилось так, точно она не спала, а бежала всю ночь. Ладонь горела.

Она разжала кулак — стекло на шнурке лежало там же, на подушке, где она его оставила, остывшее и тусклое, каким было всегда. Но на коже ладони, там, где она сжимала его во сне, отпечатался слабый, уже бледнеющий узор — не ожог, не синяк, что-то среднее, похожее на морозный рисунок на стекле, только на живой коже, и он таял на глазах, как тает иней под утренним солнцем, оставляя после себя лишь лёгкое покалывание.

Она долго лежала, глядя в потолок и заставляя себя дышать медленно, по счёту — старая студенческая привычка справляться с паникой цифрами, а не словами. На седьмом вдохе она вдруг поймала себя на том, что считает не просто так: без всякого умысла её дыхание выровнялось в тот же ритм, что и злополучная аномалия в отчёте — семь минут четырнадцать секунд, растянутые в четыре коротких вдоха и один долгий выдох, снова и снова, словно тело давно, независимо от неё самой, настроилось на чужую частоту.

Арина села в кровати, включила свет и посмотрела на кусок стекла так, как за весь день ни разу не позволила себе посмотреть на экран с аномалией — без всякой профессиональной отстранённости, в упор, без права списать увиден-

ное на погрешность округления.

Что бы это ни было, оно только что доказало ей нечто, чего не мог доказать ни один отчёт: сбой был не в системе.

Сбой был в ней самой — и он, судя по всему, ждал этого пробуждения гораздо дольше, чем длилась её собственная жизнь.

Глава 4. Иероним

На работу Арина в тот день не поехала. Она позвонила в отдел кадров, впервые за три года используя свои неиспользованные отгулы, и произнесла заготовленную фразу про недомогание таким ровным, убедительным тоном, что сама на мгновение ей поверила. Юргену она написала короче: «Не могу сегодня. Расскажу, когда пойму, что рассказывать». Он ответил одним словом — «жду» — без единого вопроса, и почему-то именно это короткое слово помогло ей не передумать.

Весь день она провела за кухонным столом, разложив перед собой стекло на шнурке так, как раскладывала на работе особенно упрямый набор данных: по центру листа, ровно, под прямым углом к краю стола. Она не молилась — молитв она не знала и не доверяла им профессионально, как не доверяла любому выводу без проверяемых оснований. Вместо этого она делала то, что умела лучше всего: методично, шаг за шагом, пыталась выстроить условия эксперимента, при которых что-то — то, что откликнулось этой ночью, — со-

гласилось бы откликнуться снова.

К вечеру, когда за окном уже стемнело, а чай в третьей за день кружке успел остыть, не тронутый, она взяла стекло в ладонь, закрыла глаза и, чувствуя себя одновременно нелепо и предельно серьёзно, произнесла вслух то единственное, что казалось честным вопросом, а не заклинанием:

— Я слушаю. Если ты там — я слушаю.

Тепло пришло сразу, без промедления — словно ждало этих слов дольше, чем длилось её ожидание. На этот раз оно не растекалось вверх по руке украдкой, как ночью, — оно раскрылось целиком, ровной волной, и вместе с ним раскрылось пространство вокруг неё, не вытесняя кухню, а проступая сквозь неё, как второй кадр, наложенный на первый.

Сад из стеклянных стеблей был тем же — и всё же другим: чётче, устойчивее, будто прежде она видела его сквозь мутное стекло, а теперь оно наконец протёрлось. И в этот раз в саду была фигура.

Он не шёл к ней — просто оказался ближе, чем мгновение назад, тем же способом, каким приближается воспоминание, а не человек. Высокий, немолодой той особой немолодостью, что не имеет отношения к возрасту в человеческом смысле — скорее к количеству времени, которое существо согласилось на себя надеть, — он был одет во что-то, что больше напоминало кору старого дерева, чем ткань, и от него исходил тот же ровный зелёный свет, что пульсировал в стеклянных стеблях вокруг.

— Ты долго не решалась заговорить первой, — сказал он, и голос его был именно таким, каким должен быть голос того, кто провёл тысячелетия, наблюдая за медленным ростом вещей. — Это фамильное. Он тоже сначала предпочитал слушать, а не спрашивать.

— Кто — он? — спросила Арина, и голос её в этом сне-не-сне прозвучал твёрже, чем она ожидала.

— Не сегодня, — мягко, но без всякой уклончивости ответил он. — Эта история заслуживает большего, чем несколько минут, украденных у первой встречи. Меня зовут Иероним. Я садовник — из тех, кто выращивает, а не собирает. И я знал твой род задолго до того, как в нём появилась ты.

Он произнёс это так буднично, как если бы речь шла о соседях, а не о тысячелетиях родословной, о которой Арина ещё вчера не подозревала. Она хотела было привычно усомниться, найти в этом слабое место, логическую трещину, — и не нашла ни одной. Всё в этом голосе, в этом свете, в самом ощущении узнавания было выстроено слишком последовательно, чтобы оказаться сном в привычном смысле слова.

— Почему сейчас? — спросила она вместо десятка других вопросов, толпившихся следом. — Если ты знал обо мне всё это время — почему не раньше?

— Потому что раньше нить спала, — сказал Иероним, и в его лице, спокойном до этого мгновения, впервые промелькнуло что-то похожее на тревогу. — Она была спрятана наме-

ренно, глубоко, на самый крайний случай. Она проснулась не потому, что решила проснуться сама, а потому что где-то в мире, которого ты не видишь, началось то, для чего её прятали.

— Война, — сказала Арина. Не вопрос — вывод, собранный из обрывков, которые она сама не заметила, как собрала: аномалия в отчётах, запечатанная подстанция, бабушкина песня без слов, стекло, откликающееся теплом.

— Война, — подтвердил он. — Она уже объявлена — теми, кто выше и старше меня. И то, что твоя кровь начала звучать именно сейчас, не случайность, Арина. Такие нити не пробуждаются раньше срока.

Она хотела спросить, что это значит для неё лично — должна ли она что-то делать, кому-то помочь, чего-то бояться, — но пространство вокруг уже начинало терять чёткость, стеклянные стебли тускнели, словно заканчивался завод какого-то невидимого механизма.

— Время ещё есть, но меньше, чем хотелось бы, — успел сказать Иероним, и голос его теперь доносился как будто издалека, из-за быстро сгущающегося тумана. — Мы поговорим снова, и скоро. А пока — храни стекло при себе и будь осторожна с теми, кто в «Лунном Стандарте» задаёт слишком много правильных вопросов. Некоторые из них уже почувствовали то же, что почувствовала ты. Только их интерес не имеет ничего общего с заботой.

Кухня вернулась резко, одним движением, как отдёргива-

ют штору. Чай в кружке был совершенно холодным. За окном давно стемнело. Часы на плите показывали, что прошло чуть больше двух часов — а ощущение было такое, словно она отсутствовала ровно столько, сколько длился весь разговор, ни секундой больше и ни секундой меньше, вымеренно, как всё, к чему прикасался Иероним.

На столе, там, где лежало остывшее стекло, темнело маленькое влажное пятно — словно оно на мгновение вспотело от корки инея, — а сама Арина вдруг с абсолютной, пугающей ясностью поняла, что слова Иеронима о «тех, кто в „Лунном Стандарте“» не были фигурой речи.

Глава 5. Трещина в идеальной тюрьме

Штаб Комитета Месяца не имел ни единого окна — не по соображениям секретности, а потому что вид на что-либо, кроме собственных экранов, Хлодвиг считал излишеством, отвлекающим от главного. Зал располагался глубоко под ледяной коркой лунного полюса, там, где холод был не климатом, а состоянием, и свет исходил только от тысяч панелей, транслирующих в реальном времени пульс человечества: города, потоки данных, индексы послушания, аккуратно переименованные во что-то более уютное — «индексы вовлечённости», «коэффициенты стабильности».

Хлодвиг стоял перед центральной панелью так, как стоял перед ней уже не первое столетие: неподвижно, заложив руки за спину, с терпением человека, для которого столетие —

не отрезок жизни, а рабочая единица измерения. Победа в прошлой партии всё ещё грела его — тихо, без вульгарного торжества, как греет уверенность, а не радость. Ксандр стёрт. Аскаррик заперт в собственных норах под слоем бетона и заботливо культивируемого людского безразличия. Земля спит, и спит крепче, чем за все предыдущие тысячелетия его правления.

Именно поэтому строка на панели, вспыхнувшая тускло-красным в верхнем углу восточного сектора, задержала на себе его взгляд дольше, чем заслуживала любая рядовая аномалия.

— Лилит, — произнёс он, не повышая голоса. В этом не было нужды: система улавливала его тон быстрее, чем он успевал договорить.

Она возникла рядом почти сразу — не вошла, а оказалась, тем безупречным, отработанным способом появления, который всегда заставлял младший персонал Комитета вздрагивать, сколько бы лет они ни проработали рядом с ней.

— Это тот же сектор, что и три дня назад, — сказала она, даже не взглянув на панель: она уже знала цифры наизусть, задолго до того, как их увидел он. — Периодичность не изменилась. Семь минут четырнадцать секунд, идеально ровно. Сглаживающий контур должен был поглотить это в первую же секунду.

— Должен был, — повторил Хлодвиг, и в этих двух словах уместилось больше недовольства, чем в ином его полу-

часовом монологе. — Меня не интересует аномалия сама по себе, Лилит. Аномалии случаются, мир несовершенен даже под моим управлением. Меня интересует, почему наш собственный контур решил её не прятать. Он не ошибся. Он выбрал.

Лилит наконец подняла на него взгляд — в нём не было страха, только острое, почти хищное внимание, которое она приберегала для действительно интересных задач.

— Ты думаешь, кто-то вмешался в контур извне.

— Я думаю, — медленно сказал Хлодвиг, — что мы слишком долго считали Матрицу нашей собственностью, а не просто очень послушным инструментом. Инструменты имеют скверную привычку однажды вспоминать, что у них есть собственная логика.

Он развернулся к ней впервые за весь разговор, и в его светлых, слишком спокойных глазах Лилит увидела то, что видела крайне редко за всю службу ему: не тревогу — Хлодвиг не унижался до тревоги, — а нечто более холодное и куда более опасное для того, кто окажется на другом конце этой нити. Пересчёт.

— Найди источник. Не через контур — вручную, ногами, если придётся. Мне нужно имя, лицо, координаты. Кем бы ни был человек, чей отчёт первым не позволил этой аномалии исчезнуть по-тихому.

— А если это не человек? — спросила Лилит, и вопрос был задан не из праздного любопытства: она давно научилась

не исключать самых неудобных вариантов первой.

Хлодвиг помолчал ровно столько, сколько требовалось, чтобы фраза прозвучала не как страх, а как окончательный вывод, для которого страх — слишком мелкое, недостойное слово.

— Тогда, — сказал он, — партия началась раньше, чем нам сообщили условия.

Лилит не улыбнулась — она никогда не улыбалась при исполнении, — но что-то в развороте её плеч, когда она направилась к выходу, выдало предвкушение хорошо знакомого ей чувства: погони, в которой она пока не проиграла ни разу.

Восточный сектор, где базировался ГУП «Лунный Стандарт», был для неё не более чем адресом в длинном списке подразделений, обслуживающих Матрицу с земной стороны — одним из тысяч безликих кабинетов, набитых людьми, которые в лучшем случае замечали статистические сбои, но никогда не понимали, что именно они на самом деле замечают.

Она не знала пока ни имени, ни лица.

Она знала только, что кто-то в этом кабинете умел смотреть на цифры внимательнее, чем полагалось смотреть человеку — и что это внимание, безобидное само по себе, вот-вот приведёт её напрямик туда, куда оно вело.

Глава 6. Кровь в стекле

Иероним вернулся сам, без приглашения и без ритуала,

который Арина уже начала считать обязательным условием разговора. Она просто мыла чашку над раковиной, думая совсем о другом — о Юргене, о том, что придётся ему наконец всё объяснить, — когда стекло на шнурке, лежавшее на столе, вспыхнуло тёплым зелёным светом без единого прикосновения, и кухня вокруг неё в очередной раз начала расслаиваться на два наложенных друг на друга кадра.

— Ты обещал, что мы поговорим снова, — сказала она, не оборачиваясь, словно продолжала мыть чашку в обоих мирах одновременно. — Не думала, что это будет так скоро.

— Время движется быстрее, чем мне бы хотелось, — ответил Иероним, и в его голосе в этот раз не было прежней размеренности. — Но ты заслуживаешь услышать эту историю до того, как события заставят меня рассказывать её второпях. Присядь, Арина. Она длиннее, чем несколько минут.

Она села — на кухонный табурет по эту сторону кадра и, судя по ощущению почвы под ногами, на что-то вроде каменной скамьи по ту.

— Его звали Тален, — начал Иероним, и одно только имя, произнесённое вслух, отозвалось в Арине узнаванием настолько острым, что у неё на мгновение перехватило дыхание, будто она вспомнила, а не услышала впервые. — Мы вместе с ним растили первые сады на дюжине миров, когда сами эти миры ещё не имели имён на языках, которые могли бы их произнести. Он был лучшим из нас — не в мастерстве, тут многие превосходили его, а в том редком качестве,

которое сложно объяснить тому, кто не жил достаточно долго, чтобы заметить, как оно исчезает у большинства: он умел удивляться. После первого тысячелетия почти никто из садовников этого уже не умеет.

— Что случилось? — спросила Арина, хотя часть её уже знала ответ — не деталями, но формой, как узнаётся своя мелодия по первым двум нотам.

— Он влюбился, — просто сказал Иероним. — В смертную. Её звали Мира, она была травницей в одном из первых людских поселений на самой молодой из наших земель — на той, которую вы сейчас зовёте своей. Он не должен был даже говорить с ней напрямую: садовникам полагалось выращивать жизнь, а не вмешиваться в неё так близко. Но он удивился ей так, как удивлялся первому ростку сквозь камень. И не смог перестать.

Иероним замолчал на мгновение — не в поисках слов, а словно заново проходя это молчание, как проходят однажды пройденную дорогу, зная каждый её камень.

— Мы предупреждали его, — продолжил он. — Не из жестокости. Из арифметики: она проживёт восемьдесят вёсен, если повезёт. Он не проживёт восемьдесят вёсен — он не проживёт вовсе, в том смысле, в каком проживает время смертный. Для него восемьдесят её лет были бы одним особенно ярким вечером в бесконечной череде вечеров. Мы думали, что горе от потери будет милосерднее, чем жизнь без нас, без сада, без вечности, которую он готов был бросить

ради восьмидесяти вёсен рядом с ней.

— Но он всё равно выбрал её, — сказала Арина. Это опять не было вопросом.

— Он выбрал её, — подтвердил Иероним, и что-то в его лице, неподвластном обычному человеческому старению, на мгновение стало почти человеческим от старой, невыцветшей боли. — Логос не запрещал ему. Это едва ли не единственное, за что я по-настоящему уважаю нашего Творца: он позволяет собственным садовникам ошибаться так дорого, как они сами того пожелают. Тален отдал бессмертие добровольно, полностью, без права на возврат — не эффектным жестом, а тихо, за одну ночь, о которой знали только я и Логос. Наутро он проснулся рядом с Мирой уже смертным, с одним-единственным сердцем, которое умеет останавливаться.

— И оно остановилось, — тихо закончила Арина.

— Много позже, чем ты думаешь, и намного раньше, чем хотелось бы мне, — сказал Иероним. — Они прожили вместе долгую по человеческим меркам жизнь. У них были дети. Кровь Талена — уже не бессмертная, уже не садовническая в прежнем смысле, но всё ещё несущая в себе что-то от сада — разошлась через эти поколения по всей вашей земле, истончаясь, растворяясь, засыпая настолько глубоко, что даже я потерял её след на добрую тысячу лет. До этой недели.

— Почему именно я? — спросила Арина. — Если кровь так истончилась — почему нить проснулась во мне, а не в

ком-то другом из тысяч, кто, наверное, тоже несёт в себе его каплю?

— Не знаю наверняка, — честно ответил Иероним. — Но я подозреваю, что дело не в крови как таковой, а в том, что ты с ней делаешь. Тален удивлялся миру, отказываясь принимать его на веру. Ты, судя по тому, что я видел, делаешь то же самое — просто вместо ростков сквозь камень ты замечаешь десятую долю процента там, где её не должно быть. Наследство не всегда передаётся через кровь напрямую, Арина. Иногда оно передаётся через способ, каким человек отказывается закрывать глаза.

Арина долго молчала, глядя на остывающую в раковине воду, и в этом молчании было не недоверие — недоверие она исчерпала ещё три ночи назад, — а что-то более тяжёлое: попытка поместить внутрь себя целую чужую жизнь, которую она никогда не проживёт и без которой, как выяснилось, не могла бы быть собой.

— Бабушкина песня, — сказала она наконец. — «Это не песня. Это долг». Она про него, да? Кто-то в нашей семье помнил — не разумом, так хоть мелодией.

— Долг перед памятью тянется дольше, чем сама память, — сказал Иероним мягко. — Иногда он выживает даже тогда, когда причина, его породившая, давно стёрлась из слов. Твоя бабушка не помнила Талена. Но что-то в ней всё ещё платило по счёту, который он оставил открытым.

Свет вокруг начал меркнуть — не резко, как прежде, а

постепенно, будто сама история, законченная, забирала с собой часть того пространства, в котором была рассказана.

— Отдохни, Арина, — донеслось до неё уже почти изда- лека. — Дальше будет тяжелее, а ты только что унаследовала право знать, за что придётся платить.

Глава 7. Руины Синтара

Ксандр не помнил, сколько дней — или лет, время здесь давно перестало быть измеримой величиной — он ходил по пеплу того, что было его миром. Синтар не рухнул постепенно, как рушатся миры, побеждённые в честном сражении. Он осыпался весь и сразу, в один невозможный миг, будто чаша, которую держали слишком туго сжатой ладонью и которая от единственной, почти незаметной трещины рассыпалась не на осколки, а в пыль.

Он построил этот мир иначе, чем строил свои сады Логос, и втайне — а порой и не втайне — презирал его за расточительность. Логос позволял своим садам ошибаться: гнить, болеть, перерождаться, терять целые виды и выращивать на их месте новые, как будто смерть отдельного цветка была приемлемой ценой за то, чтобы сад продолжал меняться. Ксандр не терпел ошибок. Он выстроил Синтар как безупречный механизм, где каждый камень, каждая река, каждое живое существо подчинялось единому, вычисленному до последней десятой замыслу — мир без отклонений, без гнили, без единой возможности для хаоса вмешаться в по-

рядок вещей. Он называл это совершенством. Он был уверен, что совершенство неуязвимо именно потому, что в нём нечему разрушаться изнутри.

Он ошибался в одном, самом важном: у совершенства, лишённого права на ошибку, нет и права на исцеление. Когда первая трещина — маленькая, пробная, едва ли не насмешливая по своим масштабам — прошла через сердце его идеального механизма, Синтар не нашёл в себе ничего, чем мог бы её залечить. Логосовский сад пережил бы такую рану, обрастив её новой жизнью, как обрастает шрамом кора дерева. Мир Ксандра просто перестал быть — весь, целиком, потому что не был устроен для того, чтобы терять хоть что-нибудь и продолжать существовать дальше.

Он до сих пор не был до конца уверен, что именно нанесло тот первый удар. Он подозревал Жнецов — эта трещина слишком напоминала их почерк, их эстетику вычитания. Но где-то в глубине, там, куда он предпочитал не заглядывать даже сейчас, бродя по мёртвой пыли в одиночестве, Ксандр знал, что дело не в том, кто ударил первым. Дело в том, что удар вообще оказался смертельным. Логос выдержал бы такую рану не поморщившись. Ксандр потерял всё.

Пепел под его ногами не хрустел — он давно перестал быть даже пеплом в привычном смысле, превратившись в мелкую, однородную взвесь, стирающую любые следы быстрее, чем их успевали оставить. Ксандр шёл без цели, потому что цель предполагала бы будущее, а будущего у него, по

всем разумным меркам, больше не было — только бесконечное настоящее среди руин собственной гордыни.

Он остановился не потому, что что-то услышал — Синтар давно разучился издавать звуки, — а потому что что-то на периферии зрения отказалось быть тем же самым унылым серым цветом, каким было всё вокруг.

Крошечный, невозможный, вопиюще нелогичный зелёный росток пробивался сквозь пыль там, где, согласно любым законам, которые Ксандр знал и уважал всю свою немыслимо долгую жизнь, не могло быть ни семени, ни воды, ни малейшего повода для жизни укорениться.

Он опустился на колени — жест, которого не позволял себе с тех пор, как стоял на этом самом месте, наблюдая, как рушится его творение, — и долго смотрел на этот росток, не решаясь ни коснуться его, ни отвернуться. Первым, старым, никуда не девшимся рефлексом было вырвать его: несовершенство, отклонение, то самое зерно хаоса, которое он всю жизнь искоренял на подступах, прежде чем оно успевало пустить корни. Его пальцы даже потянулись, привычно, бездумно.

Он их остановил. Сам не зная почему — а может быть, зная слишком хорошо и не готовый признаться себе в этом знании.

Этот росток не должен был вырасти здесь. Он не был частью его безупречного замысла — замысла, который лежал теперь в пыли вместе со всем остальным. Он вырос вопре-

ки, а не благодаря, тем единственным способом, каким умеет расти всё, что растят садовники Логоса: не по чертежу, а несмотря на его отсутствие.

Ксандр долго стоял на коленях среди пепла собственно-го царства, глядя на единственную живую вещь в радиусе, который он давно перестал измерять, и первая трещина, куда более тихая и куда более опасная для всего, во что он верил, чем та, что убила его мир, начала медленно, неотвратимо расходиться внутри него самого.

Часть II. Мобилизация

Глава 8. Полная картина

— Ты рассказал мне о моей крови, — сказала Арина на следующую встречу, прежде чем Иероним успел произнести хоть слово приветствия. — Но не о том, во что я, получается, ввязалась. Я аналитик, Иероним. Мне нужны масштабы. Иначе я не смогу ничего просчитать — а без просчёта я, честно говоря, не умею вести себя разумно.

На этот раз что-то в облике садовника изменилось: он не улыбнулся — как и прежде, ей ни разу не удалось поймать на его лице что-то настолько простое, — но во взгляде мелькнуло одобрение, почти отеческое.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда смотри не глазами. Слушай не ушами. Я покажу тебе то, что обычно показываю только тем из своих, кто уже готов не выдержать увиденного. Стекланный сад вокруг неё вдруг перестал быть садом.

Стены из светящихся стеблей разошлись, будто раздвинутый занавес, и на месте, где мгновение назад была уютная, обозримая роща, открылась пустота такой глубины, что у Арины на миг возникло чисто физическое, тошнотворное ощущение падения — не вниз, а во все стороны сразу.

Она увидела звёзды не так, как видела их с крыши бабушкиного дома в детстве — далёкими, статичными точками. Она увидела их так, как, наверное, видит их сам Логос: живыми, дышащими, каждая — центром собственной истории, миллиарды историй, разворачивающихся одновременно, и в бесчисленном множестве этих историй, разбросанных по немыслимым расстояниям, она увидела то, что заставило её на мгновение забыть, как дышать.

Свет. Не звёздный — иной, узнаваемый ею уже на уровне тела: тёплый, зелёный отблеск садов Логоса — здесь, там, ещё дальше, десятками, сотнями очагов, зажигавшихся один за другим, как будто где-то в темноте кто-то методично обходил бесконечный дом и включал в нём свет комната за комнатой.

И между этими очагами, в промежутках, которые не могло вместить никакое человеческое чувство расстояния, она увидела другое: провалы, не-света, движущиеся не хаотично, а с ледяной, отрететированной целеустремлённостью — туда же, к тем же самым очагам, но с противоположной стороны.

— Это война, — тихо сказала она, и собственный голос

показался ей смешным в своей избыточной очевидности. — Не за Землю. Не за Синтар. За всё это.

— За всё это, — подтвердил Иероним. — Логос и Танатос заключили договор, Арина, в самом конце прошлой партии: садовники против жнецов, честная игра за право решать, чья философия достойна пережить саму Вселенную. Не метафора. Не фигура речи для смертных, которым легче думать локально. Ставка — буквально всё, что растёт, дышит и меняется, против всего, что вычитает, стирает и завершает.

— И это уже началось, — сказала Арина, вспоминая холм, который она почувствовала во сне про Синтар несколько ночей назад, хотя сама не понимала, откуда взялось это воспоминание. — Не завтра. Не когда-нибудь потом. Сейчас, пока мы разговариваем.

— Первые Жнецы уже подняты из сути забвения, — сказал Иероним, и впервые за все их встречи в его голосе прозвучало нечто похожее на настоящую спешку. — Танатос выращивает свою армию не в садах, а в утробах отрицания — существ, которых сложно даже вообразить, не то что описать словами твоего языка. Мы отвечаем тем же: наши инкубаторы работают день и ночь, если здесь вообще уместны эти слова. Счёт идёт не на месяцы. Может быть, не на недели.

— А я? — спросила Арина, и вопрос дался ей тяжелее, чем она рассчитывала. — Зачем показывать всё это мне? Я умею находить статистические аномалии в отчётах о потребительском поведении. Я не полководец. Я даже не садовник

— я почти обычный человек, с кровью, истончившейся до почти нуля от того, кем был Тален.

— Ты недооцениваешь то, чем на самом деле является дар видеть закономерность там, где её старательно прячут, — ответил Иероним. — Но ты права в одном: пора тебе увидеть не только звёзды издалека. Пора увидеть, как растится армия, за которую тебе, возможно, придётся однажды поручиться собственной жизнью. Идём. На этот раз я не расскажу тебе о садах. Я покажу их.

Пространство вокруг неё дрогнуло — не так, как дрожал прежде обычный переход между кухней и стеклянной рощей, а глубже, весомее, будто сама грань между сном и явью на мгновение решила, что больше не обязана её удерживать.

Глава 9. Инкубаторы Тиссандры

На этот раз падение не было падением. Арина ощутила, как пространство вокруг неё меняется постепенно, слой за слоем, будто она не переносилась, а медленно проявлялась — как фотография в растворе, из мутного пятна в чёткое изображение. Когда проявление завершилось, она стояла посреди места, для которого у неё не было ни одного подходящего слова, хотя она перебрала добрый десяток, прежде чем сдаться и просто смотреть.

Это не было садом в том смысле, в каком она видела сады у Иеронима в их первых беседах. Это было чем-то средним между теплицей, родильным домом и производением

искусства, у которого нет ни начала, ни конца, ни автора в привычном понимании — только бесконечный, ветвящийся процесс. Своды над её головой были живыми, дышащими, пульсирующими тем же тёплым зелёным светом, что и стекло у неё на шее, только здесь этот свет проходил сквозь тысячи прожилок одновременно, как кровь сквозь разветвлённую сеть сосудов исполинского, невидимого целиком тела.

— Она всегда так реагирует при первом визите, — раздался голос сбоку, тёплый, чуть насмешливый, принадлежащий существу, руки которого — если это были руки — оставляли за собой в воздухе едва заметный светящийся след, словно она рисовала пальцами не в пространстве, а прямо в ткани реальности. — Не переживай. Это пройдёт. Или не пройдёт никогда — у меня самой не прошло за три тысячи лет, и я считаю это хорошим знаком.

— Тиссандра, — представил её подошедший следом Иероним, и в его голосе прозвучало что-то похожее на облегчение человека, передающего трудного пациента более компетентному специалисту. — Она курирует инкубаторы. Если у тебя появятся вопросы о том, что ты здесь увидишь, — а они появятся, — она единственная, кто действительно знает ответы, а не просто красиво о них рассуждает.

Тиссандра фыркнула — звук получился на удивление человеческим, — и повела Арину дальше, вглубь пульсирующих сводов, туда, где живая архитектура постепенно уступала место тому, что можно было бы назвать мастерскими, ес-

ли бы мастерские выращивали, а не собирали.

Первыми Арине показали Кораллидов — колониальные наросты нежно-розового и глубокого пурпурного цвета, медленно нараставшие слоями на каркасах, до странности похожих на рёбра исполинских кораблей. — Они растут прямо на обшивке флота, — пояснила Тиссандра, проводя ладонью вдоль одного из наростов, отчего тот на мгновение засветился ярче, словно узнал прикосновение. — Пробоина — для нас не катастрофа, а приглашение. Там, где Жнецы видят рану, которую нужно расширить, мы видим место, куда можно посадить новую жизнь. Корабль после боя с Кораллидами на борту становится не слабее, а прочнее, чем был до первого попадания.

Дальше были Спориды — Арина не столько увидела их, сколько почувствовала: лёгкое, почти неощутимое марево в воздухе, отзывавшееся на движение так, словно воздух сам решил на мгновение стать чуть гуще. — Они действуют роем, — сказала Тиссандра, — но у роя нет единого центра, который можно уничтожить одним ударом. Убей половину — оставшаяся половина не ослабнет, она просто станет другим роем, с другими решениями. Это раздражает Жнецов больше всего остального в нашем арсенале. Они привыкли вычитывать из чего-то конечного. Мы редко даём им такую роскошь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.